



Г. АДАМОВИЧ

Мережковский

Имя Мережковского неразрывно связано с тем умственным, душевным или просто культурным движением, которое возникло в России в конце прошлого века. У движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной, — «декадентство», есть уклончивое, неясное имя — «модернизм», есть определение литературное — «символизм». Критики не раз уже устанавливали разницу между этими понятиями и объясняли, в чем, например, декадентство не было символично, а символизм не был упадочен. Но разделением этим не особенно повезло. Да и сплетение между отдельными ветвями одного и того же дерева было так тесно, что трудно было в этих узорах разобраться. Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление... Только, конечно, были среди тогдашних литераторов люди с узкой, ограниченной душой, с узким умом и были другие, внесшие в движение духовную серьезность, напряжение и широту.

Узость олицетворял Брюсов. Может быть, именно потому он был на первых порах так удачлив. Именно потому он легко, без сопротивления с чьей бы то ни было стороны, завладел положением «мэтра»: Брюсов был и понятнее, и заносчивее других, и, в сущности, ограничивался культуртрегерством. «Раньше писали плохие стихи, — будем, господа, учиться поэтическому мастерству у отвергнутых великих учителей и будем писать стихи хорошие». — «У нас толкуют все больше о мужичках и о земстве, а на Западе в это время творится новое искусство, — будем же и мы внимательны к этому новому искусству»... Это легко было усвоить, это сулило легкий успех, Брюсов знал, чего хотел, — и завоевание власти оказалось для него делом пустячным. Но никогда он власти подлинной, над всем движением, не имел, и впо-

следствии произошел не бунт против его тирании, а просто во-
дворение порядка в литературных делах. Выяснилось, что, кро-
ме просветительной миссии, Брюсов ни на что не вправе претен-
довать, что сознание его бедно, а кое в чем и порочно, несмотря
на пышные слова. Произошло это не теперь, а лет сорок тому на-
зад, еще в то время, когда брюсовский стихотворный дар едва-
едва начинал ссыхаться и вянуть. Если не ошибаюсь, в 1910 году,
в памятном споре о поэтическом «венке» или «венце». Вячеслав
Иванов и Андрей Белый почтительно, но твердо указали Брюсо-
ву на его место в новой русской словесности. Брюсов сделал *bonne
mine au mauvais jeu* *, заявил, что поэтом, «только поэтом», он и
хотел быть всю жизнь и даже принял под свое тайное покрови-
тельство возникшие на его, брюсовской, суженной платформе
течения, вроде акмеизма и футуризма. Но уязвлен остался он
навсегда.

В сущности, культуртрегером был и Мережковский. Он тоже
«открывал Европу» — причем начал это раньше Брюсова. Это он,
возвращаясь как-то из-за границы в Россию, ужаснулся нашей
«уродливой полуварварской цивилизацией» и задумался о «при-
чинах упадка русской литературы». Мережковский только что
услышал о диковинном новом мудреце Ницше, будто бы оконча-
тельно «переоценившем ценности», только что заучил наизусть
стихи Верлена, прекрасные, но без малейшего отзвука «граждан-
ской скорби», и после этого, раскрыв какой-то отечественный
толстый журнал на очередной статье Скабичевского, пришел в
отчаяние... Но, конечно, этими чертами Мережковский не исчер-
пывается, — и даже такое привычное соединение слов, как
«культурная роль», звучит в применении к нему несколько по-
верхностно и нелепо. Ну, разумеется, культурная роль была! Но
разве в ней дело? Было нечто другое, гораздо более важное и су-
щественное. Несмотря на весь свой европеизм, Мережковский
писатель типично русский, — как типично русской была вся
«его» линия модернизма, с Блоком и Андреем Белым, многим
ему обязанным.

* * *

Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволю-
ционного периода. Можно упрекать ее в отступничестве от клас-
сических русских традиций, или отмечать ее стилистическую и
эмоциональную несдержанность, или осуждать ее за некоторую

* хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

туманность замыслов... Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение. Пусть это было поколение «больное», как его нередко характеризовали тогда и как характеризуют теперь в советской России, употребляя другие термины, но оставляя тот же смысл. Пусть оно было слишком городским и несло в себе все последствия разрыва с природой, всегда тяжелые и губительные. Пусть даже в самом деле можно найти объяснение его настроениям в политических и социальных условиях эпохи — пусть! Но все-таки это было очередное русское поколение, и едва ли оно было настолько хуже других, чтобы о нем говорить не стоило. Нет, вспоминая честно, без всякой рисовки, но и без самоуничтожения, то, что занимало «русских мальчиков» — по Достоевскому — в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что сквозь иные слова, иные образы они думали приблизительно о том же, о чем думают все люди в шестнадцать или двадцать лет. Был и жар, и порыв, и восторг. А с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним «мальчишкам» и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, — а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения. Нет, не так мы раскрывали «Весы», как раскрывают какой-нибудь журнал теперь, не для того только, чтобы прочесть «интересную» повесть или «недурные» стихи: нет, нам казалось, что вот-вот что-то важнейшее будет объяснено, что-то должно измениться, и на этих страницах мы это увидим. Даже если и знаешь теперь, что жажда утолена не была, обиды не остаются. Напротив, остается только благодарность.

Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы, — и это-то и показывает, насколько мало характерно для него поверхностно-капризное западничество с Верленами, Уайльдами, а то даже и Пшибышевским. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. Книга о Толстом и Достоевском оправдывает поход на Скабичевского: ради переложения французских сонетов на русский лад ломать стулья, пожалуй, не стоило, но ради этого стоило. Тут было возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. Границы расширились не только на словах, но и на деле, а, главное, не только гео-

графически, но и творчески. Кстати, книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, — особенно в части, касающейся Толстого, — но в ней дан новый углубленный взгляд на «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно.

* * *

Однако это прошлое, это — история, исторические заслуги.

Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, мало кто за всю его долгую жизнь был и близок к нему. Было признание, но не было порыва, влечения, даже доверия, — в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия.

Мережковский — писатель одинокий.

Трудно найти другое слово, которое отчетливее выразило бы существеннейшие его черты и положение его в русской словесности. Было во внутреннем облике Мережковского что-то такое печальное, холодное и, вместе с тем, отстраняющее, что рано или поздно пустота вокруг него должна была образоваться. Да, влияние он имел в начале века огромное. Роль играл самую видную. Но ни влияние, ни роль не исключили одиночества. Одиночество было глубже. Оно могло и до старости Мережковского прекрасно уживаться с какими угодно спорами, соображениями, выступлениями, речами, полемиками. Взглянешь, бывало, со стороны, — как будто активнейшая деятельность. Вслушаешься в тон слов, написанных или сказанных, все равно, — и сразу чувствуешь, как все это прирожденно, органически непоправимо «вне»... Нелегко определить, вне чего. Естественно было бы сказать «вне жизни», но как некогда было спрошено «что есть истина?», так можно спросить себя: «что есть жизнь?» Разве то, что так явно волновало Мережковского — не жизнь? Разве жизнь — это только какие-нибудь желтые пеленки Наташи Ростовской, а все эти догадки, намеки, воспоминания, пророчества и обещания, хотя бы и самые отвлеченные, — нечто другое?

Нет, оставим в покое расплывчатое, все покрывающее понятие о жизни. Но если случайно вспомнился Толстой, то на примере его можно кое-что пояснить... Толстой, в самом деле, менее, чем кто бы то ни было, — «вне». Толстой всегда и во всем — со

всеми людьми. Мережковский — единственный из больших русских писателей последнего времени, полностью обошедшийся в своем духовном развитии без Толстого. У других — отчужденность обманчива, поверхностна. При жизни Блока, например, могло бы показаться парадоксальным утверждение прямой зависимости «декадентского» поэта от Толстого, и Толстой, конечно, расхохотался бы над «Ночными часами», как хохотал над Бодлером и Ибсенем. Но нравственная преемственность очевидна — и уже скорее поверхностна связь Блока с Владимиром Соловьевым. В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех, только не у Мережковского. Здесь — несомненный разрыв, и даже не разрыв, а какое-то постоянное игнорирование, переходящее в глухую вражду. Нередко, когда читаешь Мережковского, кажется, что он именно с Толстым спорит, как бы ни был далек от него, и именно с ним сводит какие-то давние, скрытые счеты.

Кстати: замечательный рассказ о посещении Мережковским Ясной Поляны, — рассказ, который я слышал несколько раз от З. Н. Гиппиус. По-видимому, сцена эта врезалась ей в память.

Толстой вечером, после общей беседы, поклонившись гостям и пожелав им спокойной ночи, остановился в дверях, и вполоборота, пристально и внимательно, своими пронизывающими, глубоко запавшими глазами поглядел на Мережковского. «Мне даже сделалось жутко, — вспоминала Зинаида Николаевна. — Чего это он на Дмитрия так смотрит?»

Позволю себе догадку: Толстой смотрел на Мережковского с любопытством, как жадный, ненасытный художник, встретивший что-то такое, чего до тех пор видеть ему не приходилось. Безотчетно он, может быть, уже и подыскивал слова, эпитеты: «Как бы его получше описать». В гениальной своей обычности, как удесятеренный в жизненной силе средний человек, он изучал редкое исключение, чувствуя, вероятно, неодолимую, тихую, упорную в нем вражду. Не могло быть иначе, по глубокой розни натур. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной гравюре, где встречается день с ночью.

* * *

С Мережковским можно было говорить о чем угодно. О неизбежности войны, о последней статье Милюкова, о большевиках или Гитлере, о том, поняли ли французские трагические поэты

греков и устарел ли Чаадаев... Беседа неизменно находилась на известном, довольно высоком уровне, и люди в общении с ним незаметно для самих себя «подтягивались». Предметы же бесед бывали самые различные.

Однако, если разговор был действительно оживлен, если было в нем напряжение, рано или поздно сбивался он на единую, постоянную тему Мережковского — на смысл и значение Евангелия. Пока слово это не было еще произнесено, спор оставался поверхностным, и собеседники чувствовали, что играют в прятки.

Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу Неизвестному» через все свои прежние построения и увлечения, издалека глядя в него, как в завершение и цель. Иногда бывали зигзаги, со стороны не совсем понятные, — например, один из его последних зигзагов: наполеоновский, — но в сознании Мережковского они едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было внести ясность в единственно важную тему и подготовить рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине девятнадцать столетий тому назад. Нет писателя, который был бы больше односторонним, чем он. Ему не приходилось ни обуздывать себя, ни бороться с «впечатлениями бытия»: жизнь для него — не то, что есть, а то, что должно быть. Он готов был бы повторить: «тем хуже для фактов», если бы нашел что-либо не укладывающееся в его схематически-стройные — что-то уж слишком стройные! — исторические догадки. Да он и видел лишь то, что к схемам его подходило, так что недоразумений или трудностей не возникало.

Удивительно в его отношении к Евангелию, в его истолковании Евангелия то, что он лишает эту книгу ее человечности. Не случайно, вероятно, в его «Иисусе Неизвестном» с такой щедростью разбросаны реалистические подробности: это — уступка, подачка, может быть, даже хитрость. Мережковскому нужно затушевать основные черты своего замысла, и он вводит в рассказ житейский колорит, чтобы не так пронзителен был идущий от всего сочинения холодок. Кажется, на первый взгляд, что близость к людям сохранена, даже подчеркнута. Но Евангелие больше не за что любить, несмотря на декоративные «одуванчики у ног» и прочие украшения. Евангелие перенесено туда же, в какое-то недоступное «вне», и даже догмат спасения провозглашен с тех же высот не столько как обещание, сколько как непреложный, обязательный приговор. Еще бы немного, и может захотеться «вернуть билет» христианству, — если только действительно это и есть христианство!

«Что я делал на земле? Читал Евангелие». Это одно из тех признаний Мережковского — в «Иисусе Неизвестном» — где особенно верно и точно он выразил самого себя, свой творческий склад и тон.

Но разве истинный христианин, каким себя Мережковский всегда считал *, может только читать Евангелие? Разве Евангелие можно вполне, «до конца» понять, ограничиваясь чтением его? Мережковский, вероятно, оговорился: едва ли стал бы он настаивать, что чтение он готов признать главным делом в жизни. Не случайно, однако, оговорился он именно при этом, именно так... Суждения торопливые, без проверки высказанные, обычно выдают сами себя небрежным, торопливым подбором слов. А это ведь сказано с длительным отзвуком, с прекрасной и строгой простотой, до которой Мережковский вовсе не всегда поднимается. Очевидно, мысль взволновала его, и безотчетно всем своим существом он ответил ей: да, это так! Да, читал Евангелие, хотел бы всю жизнь только читать и думать о нем! И хотя книга эта вся обращена к делу, хотя только в «делании» раскрывается величие ее скромности, бессмертье ее идейной скудости, ни на что другое, кроме чтения, не осталось ни времени, ни сил. Книга была прочитана, десятки, сотни раз перечитана, но не «проросла». Послушный сын ни на один день не оставил отца, не отправился, как тот, другой, посмотреть, что творится там, за отцовскими полями и рощами, и не узнал радости возвращения и прощения.

Розанов, хорошо знавший Мережковского, внимательно к нему присматривавшийся, сказал о нем: «Мало кто из русских писателей принял в душу свою столько печали, как он». Это очень верно. Печаль у Мережковского какая-то изначальная, природная, противоречащая всей его метафизике. Спасение обеспечено, финальная гармония неизбежна, тайны все разгаданы, казалось бы, остается только радоваться и ликовать, каковы бы ни были временные жизненные невзгоды! Но если действительно «стиль — это человек», Мережковский в будущих свершениях и торжествах был как будто не вполне уверен. Смысл слов у него — один, тон слов — совсем другой, но смысл ведь можно выдумать какой угодно, а тон приходит сам собой.

* Как-то он, помню, сказал, комментируя скудость откликов на последние свои книги: «Мне обидно не за себя... мне за Него обидно!..» — вполголоса, почти рассеянно, как нечто совсем естественное и обычное.

Чем дальше и непринужденнее углубляется Мережковский в свои метафизические дебри — о тайне ли Трех, об отношении ли Отца к Сыну, — тем чаще вспоминает одно имя: имя Смердякова.

Кто не склонен за ним в его экскурсиях следовать, тот Смердяков: «Про неправду написано!» Кто колеблется, кто сомневается — Смердяков. Нет для Мережковского большего удовольствия, чем поиздеваться над человеческим рассудком, над «малым разумом», которому противопоставляет он «мудрость», готовую на любую сделку с фантазией. Надо, значит, полагать, что при сотворении человека Бог не собирался разумом его надеять. Разум, очевидно, дан человеку коварным дьяволом.

Впрочем, это спор старый. Мережковский, конечно, ответил бы, что надо сделать выбор между Христом и Его врагами, что «мудрость» — за Христа, «разум» — против, что при таких условиях терпимости нет... Что же, допустим! Но неужели Мережковский не видел трудности веры в наше время, горестной ее недоступности для многих искренних и природно религиозных людей? «Ум ищет божества, а сердце не находит». Бывает и наоборот: сердце ищет, ум не находит. А начать браниться, так прекратятся и поиски.

Если бы это было так просто, как предлагает Мережковский: «Не хочу больше ни в чем сомневаться, принимаю легенду за достоверность, верю в чудеса и таинства... и перестая быть Смердяковым!» Но одного желания мало. Ум, злополучный «малый разум», достаточно униженный и потрепанный в последние десятилетия, пожалуй, и пошел бы на компромисс, но остыла кровь для веры, — для настоящей прежней веры, для готических соборов, для крестовых походов, для видений, для открытого и общего исповедания потусторонних тайн, — и как-то слишком светло и пустынно сейчас в мире для всего этого. Светает, ночное вдохновение иссякло, пора очнуться, оглядеться вокруг, дать место трезвым заботам, простым, пусть и сравнительно плоским мыслям. Оттого христианство и в опасности. А Мережковский — его защитник, своими насмешками и бранью отталкивает от него людей, которые в задумчивости остановились на полдороге...

«Не в морали дело, — как будто говорит он в каждом слове, на каждой странице своего “Иисуса”, — мораль — придаток, следствие, вывод, все дело — в метафизике».

Ну, что же — допустим и это! Согласимся для упрощения спора, что христианство — прежде всего метафизика, и только за-

тем — мораль. Но ведь, все-таки, оно *и* мораль. Спаситель ведь был и Учителем.

Отчего же Мережковский радуется всякому поражению и посрамлению евангельской морали, ликует всякий раз, когда кровь отвечает кровью и злу зло? Отчего так мило его сердцу насилие? Отчего с наибольшим во всей книге упоением рассказывает он о том, как Иисус выгнал торговцев из Храма и как свистал, как извивался в руках Его хлыст? Как мог он написать такие слова, хотя бы и по адресу «овладевших миром негодяев»: «О, если бы знать, что бич Господень ударил по лицу хоть одного из них, какая это была бы отрада!»

Эта «отрада» звучит таким мучительным диссонансом, таким диким взвизгом в истолковании евангельских текстов, что разлада невозможно выдержать. Может быть, толстовское «непротивление» — не христианство. Но и это — наверно, наверно не христианство, в тысячу раз еще меньшее христианство, нежели то, что проповедовал Толстой.

Непротивление, разумеется, неразрывно связано с идеалом анархическим, и вне этого идеала теряет всякое значение. Как бы изворотливы ни были государственно мыслящие комментаторы Евангелия, им, однако, никак не затушевать того факта, что поразившие Толстого слова значатся в священном тексте черным по белому, — и, может быть, именно такие факты побуждают виднейших современных исследователей, в особенности вышедших из католичества, утверждать — вопреки Ренану, — что евангельское учение рассчитано было вовсе не на века, а на несколько дней или месяцев, остающихся до конца света... В позиции Мережковского смущает не самый призыв к «сопротивлению», — призыв неизбежный, если мир не кончился и кончатся не собирается, — а совсем другое: некое довольно-таки легковесное «есть упоение в бою», радостное согласие на схватку вместо трагического сознания ее неотвратимости. Смущает то, что однажды, на эту скользкую дорогу став, человек уже делается неспособен отличить, где бич Господень и где просто бич, никакого касательства ни к Провидению, ни к предустановленной гармонии не имеющий. Мережковский говорит о «благочестивых мошенниках и глупцах, о всех, кто ударившему их в правую щеку подставляет другую, не свою, а чужую». В этой подозрительно-иронической фразе кроются не столько обиды за несчастных «других», сколько заботы о том, чтобы вообще никаких щек не подставлять. И начинается спор с Христом, — совершенно так же, как в соловьевских «Трех разговорах», где набожный, но как будто сошедший с ума, ослепший, оглохший автор не видит и не

понимает, с Кем он, собственно говоря, через голову Льва Толстого, так изящно, остроумно и блестяще полемизирует. «Перед пастью дракона и Крест и Меч — одно». Пожалуй! Беда-то только в том, что при господстве таких настроений дракон начинает мерещиться человеку всюду, и меч он неизменно держит при себе. «На всякий случай», так сказать.

* * *

Розанов был всегда «другом-врагом» Мережковского — как сам Мережковский выразился, — и можно, не слишком далеко уходя от темы, вспомнить его «Темный лик». Есть в этой замечательной книге чье-то частное письмо, насколько помнится, без имени автора, написанное вечером в Страстную субботу. Есть в письме слова о «белых платьницах, из которых скоро вырастают».

Письмо очень печальное. Пишущий знает, что сейчас запоют заутреню, будет ясная весенняя ночь, люди соберутся в церковь для прославления величайшего из чудес, будут пылать свечи, будут белеть эти милые девичьи «платьница», символ доверчивости и невинности. А если чуда не было? Если надеяться не на что? Если впереди только смерть? Если и тогда, *там*, все кончилось одной только смертью?

Нечего закрывать себе глаза на истинное положение вещей. Нечего уверять, что самый такой вопрос для христианина бессмыслен или — по Мережковскому — «кощунственен и нелеп». Он был «кощунственен» и «нелеп» в первые века христианства, но после того, что люди с тех пор передумали и узнали, после всего, в чем они разочаровались, вопрос этот перестал быть не только нелепым, но даже и кощунственным. Нельзя, разумеется, считать его обязательным, неотвязным. Но уж если он пришел в голову и начал смущать, слабость была бы именно в том, чтобы от него отмахнуться, — кощунство, мол, да и только! Последний оплот христианства — именно в тех, кто не только вопрос этот знает, но и не колеблется в ответе на него. Последние, вернейшие друзья Основателя христианства — те, кто заранее согласен на бескорыстный, никаких загробных блаженств не сулящий подвиг: на сохранение полной верности, даже если бы надо было отказаться от самых дорогих надежд христианства. Даже если нет в христианстве той победы над смертью, которую оно обещает.

«Кощунство, нелепость!» — чуть ли не вопит Мережковский. Если это так — возмущается он: «Величайший в мире так обманул себя, как никто никогда не обманывал!» Нелепостью стано-

вится тогда для него самое содержание Евангелия. В сущности, если вдуматься, Мережковский предъявляет Христу ультиматум: «Быть тем, кем признали Его верующие». Если верующие ошиблись — все рухнет и принятое ими учение превращается в «роковую ошибку». Те же, кто готов был умереть с Умершим, даже без уверенности, что их ждет воскресение с Воскресшим, те — презренные отступники, предатели, трусы, лжецы: нет такого бранного слова, которое Мережковский нашел бы для них слишком жестоким.

Не раз слышал я рассуждения Мережковского на все эти темы, — и до того, и после того, как нашел их в «Иисусе Неизвестном». Иногда и на публичных собраниях в «Зеленой лампе» угрожал он «отступникам и предателям», — что бывало почти всегда тягостно, несмотря на его несравненное красноречие: эстрада, звонок председателя, скучающие дамы в первом ряду, нервничающий «предыдущий оратор», которому, как водится, не дали хорошенько высказаться, а Мережковский будто на очередном вселенском соборе, ораторствует о таких вещах, о которых надо и можно думать, но как-то неудобно устраивать дебаты. Оратор, еще раз скажу, он был такой, какого за всю жизнь слышать мне не приходилось: доклады, заранее приготовленные, читал он скучновато, но порой, под конец вечера, когда его, бывало, раззадорят или взволнуют, говорил так, что, казалось, остается простым смертным только «внимать арфе серафима». Но все-таки это была игра, представление, как всякое публичное собрание, — и лучше было бы играть на другие темы, по другому поводу!

Однако тут возможны разногласия, и не стоит сейчас в их рассмотрение вдаваться. Слушая Мережковского, случалось — а, перечитывая его, случается и поныне, — недоумевать: неужели он в самом деле так непоколебимо убежден в том, что провозглашает? неужели нет и не было у него сомнений? и если были, то не может же он не понимать, чем он рискует? не может не понимать, от чего отрекается, если сомнения оказались бы основательными? Но даже с глазу на глаз спросить Мережковского о чем-либо подобном было бы невозможно. Он замахал бы руками и стал бы повторять все те же слова: нелепость, кощунство, предательство.

* * *

В этих заметках нет претензии ни на систематичность, ни на полноту, как нет в них и сколько-нибудь законченной характеристики Мережковского.

Было бы, однако, ошибкой остановиться на разногласиях, поставить после них точку, не сказав ни о чем другом, более общем, трудно поддающемся точному определению. Должен добавить, что это «общее» сложилось в моей памяти скорее под впечатлением от встреч и разговоров с Мережковским, чем от его книг. В давних его книгах было, конечно, много ценного, хотя и относятся они к области «исторических заслуг». В книгах эмигрантского периода ценного меньше, и самое стремление Мережковского соединить в них науку с красотами поэзии не удовлетворит ни подлинных ученых, ни сколько-нибудь требовательных поэтов...

Но человек он был удивительный, совершенно не похожий на других людей, внутренне обособленный, странный до крайности, — чем, конечно, и было вызвано его одиночество. Случалось с ним мысленно, безмолвно — не только устно или печатно — спорить, случалось даже негодовать на него, обещать самому себе расстаться с ним «вечным расставаньем»... Много было на это причин, помимо тех, которых я только что коснулся. Но потом случалось и спохватываться, самого себя упрекать: было все-таки в Мережковском что-то подкупающее и нельзя было этого не чувствовать!

До старости он пронес, может быть, сберег от «декадентства», которое оттого-то и пришлось ему по вкусу, — брезгливость к оплотнению, к «ожирению» души, инстинктивную враждебность к грубоватой житейской беззаботности, острый слух ко всему тому, что расплывчато, в ницшевском смысле слова можно назвать музыкой. Мережковский по некоторым своим чертам был очень русским человеком. Но был он и безотчетно непримирим к некоторым чертам, — увы! тоже типично русским: помню, когда-то раскрыл он книгу, стал читать вслух что-то в таком приблизительно стиле: «Ну, батенька-с, хлопнем-ка еще по одной... с селедочкой-то, а?» и отшвырнул книгу с дрожью внезапного отвращения. Его «анти-батенькин» внутренний склад был так очевиден, что наши отечественные рубахи-парни и души нараспашку всех типов неизменно шарахались от него, как от огня. Однажды Мережковский с явным сочувствием сказал о Чаадаеве, что это был первый русский эмигрант, — очень метко, очень глубоко! Но эмигрантом прирожденным был-то, в сущности, и он сам, потому что — независимо от политического строя — было всегда ему в России как-то неуютно и страшновато, а если где и дышалось ему легко, то лишь в Петербурге, куда не все неискоренимо русское, в «батенькиной» духовной тональности, и доходило.

Но это-то в нем и прельщало. Блок, человек, видевший все недостатки Мережковского, но — в отличие от Андрея Белого — человек твердый, верный, без лукавства и готовности кого угодно высмеять, — записал в дневнике, что после одного собрания ему хотелось поцеловать Мережковскому руку: за то, что он царь «над всеми Адриановыми». Запись эту нетрудно расшифровать, — потому что многим из знавших Мережковского хотелось иногда тоже поклониться ему и поблагодарить. За что? Не только за прошлое. За пример органически музыкального восприятия литературы и жизни. За стойкость в защите музыки. За постоянный, безмолвный упрек обыденщине и обывательщине, в какой бы форме они ни проявлялись. За внимание к тому, что одно только и достойно внимания, за интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. За рассеянность к пустякам, за постепенное, неизменное увядание в обществе, которое пустяками бывало занято. За грусть, наконец, которая «чище и прекраснее веселья» и все собой облагораживает.

Слова как будто неясные. Но то, что было в Мережковском лучшего — и что почувствовал Блок, — не вполне ясно тоже. Формальная точность выражений могла бы оказаться в воспоминаниях о нем обманчивой и увести от него совсем далеко.

